

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА



РОЖДЕНИЕ ЖАНРА

Я стояла напротив стены и время от времени билась об неё головой. Не скажу, чтобы я преследовала цель пробить эту стену насквозь, но небольшая трещина, признаюсь, доставила бы мне неизъяснимое удовольствие и утвердила в мысли о законах мирового равновесия, в которых сила воздействия и ответный результат равно пропорциональны. Но поскольку этот процесс начался ещё с тех незапамятных времен, когда я стала ощущать себя сознательным существом, я не пребывала в состоянии отчаяния, а, скорее, в рутинном состоянии фатального согласия с неизбежным. К тому же, мне не на что было жаловаться. Со временем болевые ощущения покинули меня. По-видимому, под кожей с годами образовалось нечто вроде защитного слоя, который спасал от сотрясения не только мой мозг, но отдельные нейроны и клетки, связанные синапсами-перекрестками кривых тропинок, призванных привести в зону комфорта.

Случилось это в тот незапамятный день, когда битье головой стало настолько привычным, что уже не ощущалось как нечто неестественное, но полноправно вошло в мою повседневную жизнь и обрело некий ритм, сравнимый с движением бумеранга, приливом и отливом, восходом и закатом и прочими естественными явлениями. Мне даже показалось, что в этот день стена напротив окрасилась каким-то слабым импрессионистическим оттенком, сравнимым с умудренным опытом и годами лицом человека, напротив которого ты проводила многие годы и вдруг обнаружила, что его морщины, ранее незаметные, говорят гораздо красноречивей, чем та часть его лица, из которой должны появляться звуки, предназначенные прояснить причину, по которой обращенное к вам лицо все ещё остается в поле вашего внимания.

Итак, я подошла к стене, как обычно, и уже приготовилась обрушиться на неё той частью своего тела, которая, как я уже говорила, обросла защитным слоем. Не успела я замахнуться, как услышала за спиной короткое *ой*. Я решила не от-

влекаться на посторонние звуки и невозмутимо приготовилась к тому, что я называла действием. На этот раз *ой* сменило такое же жалобное *не надо*. За годы практики самобитья мне редко случалось слышать членораздельные звуки за своей собственной спиной. Как правило, всё что звучало, раздавалось на таком приличном расстоянии, что доходило до меня в виде невнятного шума, который просачивался в мой собственный стук, становясь для него подобием амортизирующего фона, сглаживающего впечатление от ударов. Я твердо решила про себя, что не буду оборачиваться, но почувствовала как присутствие посторонних звуков отвлекает меня от задуманного действия. Точнее, я бы не могла назвать своё действие задуманным, поскольку оно превратилось для меня в привычное настолько, что к нему бы скорее подошло определение бездумного.

Я попыталась собраться с мыслями, чтобы возобновить своё намерение, но тут обнаружила, что упоминание о мыслях тоже не совсем уместно, поскольку предполагает какую-то деятельность в черепной коробке, а за годы битья головой я набила столько шишек, что они могли бы пустить корни и вытеснить последние следы интеллекта. В голове зашевелилась смутная тень вопроса, который мне никак не удавалось сформулировать в виде членораздельной фразы, поскольку понятие фразы также не укладывалось в систематическое битье головой о стенку как нарушение ритма самого битья, как инородная фигура, сбивающая с ритма своим невнятным силуэтом, возникающим в левом полушарии.

Воспоминание о полушарии окончательно выбило меня из ритма. Я уже готовилась идти за метрономом, чтобы выбрать логический путь левой части моей головы, казавшейся мне более основательной, чем эмоциональная неустойчивость правого полушария, и подкрепить её идеей равных четвертей в такте. Но поиски метронома нарушили бы самое намерение стучать об стенку, которое я осуществляла ежедневно, с завидной систематичностью утренней зарядки.

Я в очередной раз приготовилась к ударам, но, по видимому, все предыдущие намеки на мысли окончательно лишили меня способности к бесчувствию, которого я добивалась путем ежедневных тренировок напротив стены в течение всех этих лет. Я дошла до того, что вспомнила про Стену

Сартра и спонтанное отторжение от неё, поскольку в студенческие времена ещё не наработала защитного слоя и любая мысль о преграде претила моему избалованному открытыми возможностями сознанию. *Стучите — и вам откроют*, — вот истина, исполнявшаяся почти на каждом шагу, который я делала уверенно и в нужном направлении, когда я ещё не утратила привычку двигаться...

Я вдруг вспомнила, что мои первые удары о стену не предполагали ни систематичности, ни методичности, ни, тем более, протяжённости во времени и, наверное, совершая свои первые удары, я планировала пробить эту стену если не сразу, то постепенно...

Я отступила от стены. Это был мой первый шаг, первая попытка сменить точку отсчета. Шаг назад, но все же... Я ощупала свою голову — и тут же вспомнила человека, который попал в книгу рекордов Гиннеса благодаря толщине своей лобной доли, безболезненно забивающей гвозди. Я погладила свою голову — под выработанной защитной оболочкой она оказалась бесчувственной к ласке. Мне стало жаль эту часть тела, используемую мной так бездумно, которая ничем особым не провинилась передо мной. Почему не рука? Не нога? — вдруг промелькнуло подобие мысли.

Я протянула руку, но бить ею по стене не решилась. Наверное, я наделяла руку большей ценностью, чем голову и, к тому же, многофункциональностью. Рукой можно было делать гораздо больше дел, чем головой. И, кстати, ею можно было бы... *Стучите — и вам откроют*... Дважды промелькнувшая цитата намекала на то, что передо мной была по-прежнему стена, а не дверь. Как это я раньше не догадалась о таком простом, но непреложном факте? Когда, в какой момент своей жизни я могла перепутать дверь со стеной? Я отступила ещё на один шаг, но этого было недостаточно для полного видения. И тогда я стала пятиться назад, забыв о том, что могла наткнуться на голос, помешавший моим движениям.

Голос не появлялся, как, впрочем, и никто другой, так что я могла беспрепятственно пятиться, не боясь сойти за ракообразное существо. Я отступала до тех пор, пока стена не стала частью дома, вполне симпатичного маленького домика, в котором наверняка предполагались окна и двери. Я поме-

няла траекторию движения, повернула направо, потом налево, потом ещё куда-то, и, наконец, наткнулась на дверь.

Дверь, — произнесла я внятно, — и проснулась.

P.S. Вернее, мне показалось тогда, что я проснулась. Прошло три года — и головокружения, сменяющиеся головными болями, на полгода выбили меня из привычного ритма. Пришлось отложить редактуру почти готовой к изданию книги и срочно заняться редактированием жизненных процессов. Позднее, почувствовав себя лучше и, наконец, сев за работу, я наткнулась на эту развернутую метафору своей жизни. Благо, к этому времени я уже научилась бережно обращаться со своей головой, как и с другими частями тела и начала выходить из автоматического режима повторения неосознанных, а стало быть, бесполезных действий.

ТИБЕТСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА СОСЕДНЮЮ УЛИЦУ

Я открыла глаза с единственной мыслью: поскорее найди этого человека. Эхо последней отзвучавшей чаши ещё наполняло комнату, и чувство полноты мешало подняться и предпринять реальное действие. Например, позвонить или хотя бы написать автору этого чуда. Если он, конечно, ещё жив. Ведь с того момента, когда моя девятилетняя дочь вернулась домой после прогулки с дедушкой, гордая принесёнными находками — пачкой великолепных, хотя и изрядно потрёпанных книжек и двумя дисками, сделанными вручную, на одном из которых был нарисован инь-яновский знак, а на другом — силуэт с чётко прорисованными чакрами, — с этого момента прошло больше трех месяцев.

Возможно, человек, бросивший это сокровище на производ улицы, за это время давно переехал в другой город и просто избавлялся от старых вещей. А может, он тщательно прочёл книги, перед тем, как их выбросить и скопировал музыку на жёсткий диск. А может, это был сам автор дисков, тот, кто поместил свою фотографию на одном из них — молодой человек лет тридцати, держащий в руке огромный подвесной гонг. Человек, который с высоты своего опыта отказался от прошлого, но не в силах уничтожить плоды своих трудов, решил поделиться ими с миром. Возможно, он решил покинуть этот самый мир, поскольку вибрации гонга и тибетских чаш, которые он наверняка практиковал очень долго, прежде чем записать их на студии, привели его к настоящему, а не рукотворному источнику духовной любви и красоты, и теперь он медитирует на берегу забытой реки, несущей в своих водах исцеление. Или где-то в горах на бамбуковой флейте ведёт диалог с божеством ветра, наполняя своим дыханием недосыгаемые для светской жизни высоты и принимая благодарно энергии воздуха, дающие вдохновение и древнюю мудрость...

А может, его уже нет в живых, автора этой божественной музыки? Ведь диск датируется 1990 годом! Может, это был его

последний призыв — бутылка, брошенная в море людской неосознанности? Чтобы тот, кто услышал его голос посреди всеобщего шума, пришел ему на помощь. Ведь можно услышать ещё до начала звука, как в том фильме, когда люди более совершенной цивилизации в современном музыкальном магазине только прикасались к музыкальным альбомам и в то же мгновение прослушивали их содержимое. Неужели этим спасителем стала моя дочь? Она принесла мне диски неизвестного музыканта и гордо положила их перед входной дверью. Я улыбнулась и сказала ей: *вот это да, какое сокровище ты нашла на улице, умница*, — и отложила диски в сторону, как всегда, до лучших свободных времён, точнее, на три месяца, оставив на произвол стихий голос, вызывающий о помощи. Голос, который он подавал, возможно, последний раз в своей жизни, надеясь быть услышанным!..

Я давно подозревала, что мои мыслительные способности более развиты, чем моторные. Моя мысль явно опережала действия. Она была способна разглядеть за звуками фигурку тонущего музыканта и без труда описать историю человека, который, возможно, не имел никакого отношения к этой истории, но внушить обладателю мысли, то есть мне, встать и написать этому человеку, было для неё тяжёлым трудом. Состояние оцепенения никак не проходило — и герой моей истории продолжал тонуть посреди бурного моря сансары, пока я вяло размышляла: позвонить ему или написать. На диске от руки было написано имя автора музыки, звукорежиссера и каллиграфа — и это всё в одном лице — а также его телефон и адрес электронной почты. Я с радостью обнаружила возможность писать на русском — обладатель такого имени мог быть либо русским либо украинцем — и решила:

Здравствуйте, Игорь.

Ваше «Путешествие» было найдено этой зимой моей девятилетней дочерью в пригороде Парижа недалеко от моего дома. Я прослушала его только сегодня и, конечно, оно отозвалось во мне мгновенно. Пишу Вам, надеюсь, что вы ещё разделяете со мной одно пространство жизни и, может быть, даже продолжаете жить во Франции.

В приложении высылаю в ответ своё Путешествие.

Почему я назвала его альбом *Путешествием*? Потому что с обратной стороны коробки каждой композиции было дано название *Путешествие 1*, *Путешествие 2* и т.д. И ещё, потому что для меня это слово было самым значимым последние годы. Я выпустила свой альбом «Вдоль реки» и старалась идти вдоль реки своей жизни, не останавливаясь подолгу в местах с застойной водой. Но я уже предвкушала, как вскоре окажусь у самого устья и остановлюсь, восхищённая красотой чужого мира, и как его автор откроет мне дверь, живой, хотя заметно постаревший за три десятка лет. Он никуда не переехал, у него своя студия недалеко от нашего дома, в которую он любезно приглашает меня, тронутый моей композицией с тибетскими колокольчиками, где я прорезонировала с ним на одной волне, и предлагает мне счастливое сотрудничество и обмен опытом... Или скорее — ученичество, поскольку он явно старше и опытней меня. Я прихожу к нему в день своего рождения, исполняя тем самым одно из желаний: сделать в этот день что-то, чего я никогда не делала. Я рассказываю ему, как совсем недавно посетила семинар вибрационного пения, как пела и не могла остановиться, и как неожиданно моё тело превратилось в инструмент. А мастер, вернее тот, кто выдавал себя за мастера, подошёл и наклонился к моей груди и не мог понять, что звучит во мне: голос шамана, колокольный звон или гул тибетских чаш, с которыми он ходил по комнате, окутывая гармоническими обертонами впавших в транс присутствующих. И теперь я, вот так же брожу по студии, наполненной инструментами, вслушиваясь в звук каждого колокольчика, ударяя по гонгам тыльной стороной ладони, стуча по барабанам волшебными палочками мастера, ловя дыхание бамбуковых флейт, проводя пестом по всем тибетским чашам. Всем своим существом я пропитываюсь вибрациями каждого из них — и получаю в подарок инструмент, звуки которого будят во мне то последнее, что ждало своего окончательного пробуждения...

Мысль о том, что постороннему не всегда позволено прикасаться к чужим инструментам, конечно, не приходит в моё воспаленное воображение. К этому времени интернет прерывает свободный полет моей мысли унылым вердиктом: такого адреса не существует. Ещё бы. Покажите в наши дни человека, который за три десятка лет не сменил электронный адрес, а если

этот человек отправился на Тибет, то ему вообще никакой адрес не нужен. И всё же, я не отхожу от экрана компьютера и заворожённо слежу за работой гугла, педантично ищущего имя музыканта... И чудо являет себя во всей полноте: я нахожу вышеупомянутого на фэйсбуке в родном городе! Вот так сюрприз! От сакрального к профанному — один шаг, — извивается мысль поэмеиную, но я шикаю на неё и продолжаю поиск. На первый взгляд музыкант кажется мне значительно моложе своих лет, но у художников нет возраста. Artist — так во Франции именуют всех, кто причастен к искусству: художников, актёров, музыкантов, поэтов. Он зачем-то спрятал свой лоб, обрезал волосы и покрасил их — и моё неиссякаемое воображение тут же рисует артиста, который *земную жизнь пройдя до половины*, начинает с нуля. Ради земной любви он спускается с высот обрётённого духа — я смотрю на его картину, где изображена женщина с ребёнком — меняет внешность, как тибетские монахи, медитируя на сидящего напротив, скрывает соломонову седину, несущую воспоминание о достигнутом величии, от которого он отказался во имя...

Я в третий раз торможу своё бурное воображение и снова пишу ему, уже на фэйсбук — и о, чудо, он отвечает: да, я художник, да, жил во Франции! Мы переписываемся целый вечер: я ему — о тибетских чащах и о своём восхищении, он мне — о благодарности и возможной встрече. Ведь он живёт в Киеве, куда я лечу через два месяца! Моё сердце бьётся от счастья. Я в который раз говорю себе: твоя жизнь — это увлекательный роман, тебе ничего не нужно выдумывать, чтобы проживать её, как книгу. Сядь за письменный стол и запиши всё, что с тобой произошло сегодня, пока ты пребывала в своей комнате, почти не шевелясь. Сядь и свяжи воедино невидимые нити, протянутые от одного события к другому, превращающие твою жизнь в череду знаков, по которым ты можешь пройти, даже не открывая глаз. Даже в темноте...

Я последний раз заглядываю на его страницу, чтобы почерпнуть ещё немного из этого источника божественных вибраций, в который я попала сегодня днём и из которого с таким трудом возвращалась в реальность... Я начинаю слушать его интервью, данное популярному украинскому каналу. Я прислушиваюсь к тембру голоса, пытаюсь различить в нём эхо прожитых лет, пытаюсь угадать по новым интонациям остатки

прошлого, вынесенного на поверхность сегодняшнего дня... Я всё чаще замечаю необходимость некоторого усилия воли, способного удержать, задержать в памяти хотя бы несколько мгновений отступающую музыку...

По паузам, в которые он попадает нехотя, пытаюсь выбраться из них, а не продлить, как продлевал эхо гонга музыкант, услышанный мной сегодня, пока оно не исчезало в сознании слушающего... По сбивающемуся темпу... По отсутствию обертонов в голосе... Я вдруг отчетливо осознаю, что передо мной не музыкант. Я листаю другие страницы с его именем и нахожу прекрасные картины и интересные концептуальные выставки, за которыми звучит музыка. Другая музыка. Совсем не та, что я услышала сегодня. Возможно, даже более привычная для моего слуха. Немного похожая на меня, проводящую часть жизни в фэйсбуке и на ютубе и иногда напевающую себе под нос услышанное. Музыка, которую можно понять, объяснить и даже полюбить, но которая никогда, никогда не заставит искать автора, пребывающего на расстоянии тридцати лет от слушателя, опоздавшего на встречу с настоящим.

Я закрываю одно за другим окна интернета, где художник выставляет свои картины. Талантливый художник, — успокаиваю я себя. — Художник, — повторяю я, как эхо. — Да, я никогда не играл на гонгах и тибетских чашах, — отвечает он на новые вопросы. Но ответы ударяются о вакуум, единственной субстанцией которого является услышанная сегодня музыка, оградившая меня от внешнего мира, не дающая понять то, что вне её...

Я закрываю страницы интернета, как закрывают страницы прожитой книги, написанной кем-то другим. И вдруг, в первом окошке нахожу затерявшиеся следы музыканта, которого я искала и почему-то не заметила. И фотографии его выступлений, последнее из которых, парижское, датируется 2015 годом. И его последний альбом «Тибет». Теперь всё сходится: и картинка, нарисованная моим воображением, и скупые данные интернета... Но только не то, о чём я хотела написать, не то, что я хотела прожить сегодня, раздвинув его границы, пытаясь вместить в него несостоявшуюся четыре года назад встречу, когда я могла попасть на концерт, и наполняясь дыханием бамбуковой флейты, звуками гонга и тибетских чаш, обрести себя в новых вибрациях.

Час ночи. Я тороплюсь завершить сегодняшний день, прожитый с двумя разными людьми. Мне совсем не хочется думать о том, как далеко мне ещё до встречи с Мастером и как нескоро я смогу вести диалог с тибетскими чашами. Мне хочется поблагодарить художника, чей покой я возмутила своим восторженным появлением и сказать ему: простите, я просто ошиблась дверью, вернее, окном в интернете. Я опускаю на окна жалюзи, скрывая от ночи пафос прожитой в моём воображении истории. Мне ещё хочется продлить её обнадеживающими многоточиями, но я слишком тороплюсь поставить последнюю точку на этом летнем дне, наполненном обертонами невозможного.

ТУР Д'АРЖАН, ИЛИ ВЕЧЕР ВАЛЕНТИНА

— Ты что, на лекцию собралась? — папа критически посмотрел на платье, которое я поторопилась скрыть под стильным полушубком.

— Нет, в ресторан, — я порывисто двинулась к зеркалу, чтобы ещё раз взглянуть на одежду, купленную за десять евро на распродаже. Я уже надевала его однажды, когда изображала крестную маму поэтического фестиваля в Малакофф и слышала в свой адрес множество комплиментов. Но в этот вечер мой путь лежал в центр Парижа, в ресторан с отличной репутацией и, наверное, нужно было соответствовать если не в цене, то в стиле.

— Разве так в рестораны ходят? — со знанием дела продолжал червоточить папа, не вставая с дивана.

Я с тоской посмотрела на часы. До нашей встречи оставалось полчаса.

— Так что мне теперь, раздеваться и всё менять?

— О, а в шляпе и пальто, гораздо лучше, — снисходительно согласился тот, кто ни разу в жизни не посетил ни одного дорогого ресторана.

— Папа, не сбивай меня с толку, я итак опаздываю, думала такси взять, но оказалось стоит гораздо больше, чем предполагала. Придется самой рулить и искать парковку.

Я вылетела из квартиры недовольная своим выбором и категоричностью папы, который через несколько секунд забыл о своем замечании.

Навигатор, как всегда, успокаивал: будешь вовремя. Но я то знала его противную привычку каждый километр прибавлять по минуте и вспоминать о пробках где-то на середине пути.

В дороге разразилась настоящая буря, ливень хлестал в лобовое стекло — и казалось, что недоброжелательная природа всем своим видом хочет отбить желание покидать насиженное место: тебе что, делать нечего в доме? У тебя две незаконченные книги, начатый проект, долг перед единственным оставшимся в живых родителем, которого ты пригласила в чужую страну и с которым проводишь не больше пары часов в день. С

подругой ты можешь встретиться ещё и ещё... Даже если со дня твоего рождения, когда вы виделись в последний раз, прошло ни мало ни много восемь месяцев? — вмешивался второй голос. — За это время можно было родить, переехать в другую страну, начать новое дело... Что и произошло: та, что ехала на встречу, родила единственный рассказ о той, кто успел за это время сделать всё остальное...

Я почувствовала, как туманное неуверенное существо, проникает в мой мозг, водружается в нём на центральном месте, откуда его видно, как на ладони, и монотонным голосом начинает вещать про проблемы, которыми моя жизнь наполнилась за последний месяц, а твоя была наполнена всегда ровно в той степени, каковая делала их незаметными для других. Это же существо жаловалось на отсутствие вдохновения в течение последних месяцев... На единственный рассказ, возвращаться к которому не хотелось как к отрезанному куску жизни, участником которого становишься случайно, жизни чужой, искаженной в сторону минуса, переданной понаслышке, которую мне дано было пережить по принципу «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда» и преобразить в сторону плюса, поделившись с тобой итогом после нескольких месяцев сомнений. К счастью, твоя вселенная оказалась гораздо больше правили левополушарного мышления и написанный текст послужил не поводом к выяснению отношений со своим прошлым, а к нашей встрече...

И почему ты решила, что меня нужно благодарить?— бурчал внутренний папа, давно поселившийся в сложном механизме нейронных манипуляций моей нервной системы. Приеду и непременно скажу: зачем ты выбрала самый дорогой ресторан? Думаешь, я тебя без декораций не люблю? Тебе некуда деньги выбрасывать? Так, захожу, заказываю одно блюдо, один бокал вина и остаюсь голодной, — продолжал настаивать внутренний папа, обреченный судьбой с малых лет жить в сиротском доме. — Ну ладно, может быть, маленький десерт, — соглашается он, уже покинувший стены приюта и изведавший радости вкусной жизни...

— Ты где? — в телефонном голосе едва скрывалось нетерпение.

Я посмотрела на часы: ещё десять минут, но стоит учесть непогоду.

— Ты не подскажешь, на какой стороне Сены находится ресторан? — я была уже на середине пути, когда передо мной встал срочный выбор: переезжать или нет всплывший навстречу мост. Отчаянно всматриваясь в темноту, я никак не могла разглядеть одновременно, где оканчивалась синяя линия, извиляющаяся на экране навигатора.

— Что значит, на какой? В зависимости от того, с какой стороны находишься ты, — твой голос еле удерживался в диапазоне иронии, пока в моём сознании ресторан постепенно трансформировался во дворец с мраморной лестницей, где занесенная нога в неизменном ботинке на тоненькой шпильке угрожающе зависла над следующей ступенькой в ожидании опоздавшей.

— Так, девушка, вы там разберитесь, где находится ваш Зимбабве, и больше меня не утомляйте репликами о том, как редко мы видимся. — Ты знала, что я обожаю твоё чувство юмора. — Я могу только посоветовать вам одно: предложить водителю включить навигатор, если он не местный и не знает, на каком берегу находится Тур...

— Водитель — это я! — завопила я, не разобрав названия ресторана, поскольку мне нужно было срочно поворачивать. Я вложила в голос такую силу убеждения, после которой даже самый потерянный человек может научиться мгновенной ориентации на местности. Но ты только подчеркнуто внятно произнесла:

— Какой ужас... Я не понимаю, с какой стороны нахожусь я, а ты спрашиваешь, на какую сторону нужно тебе.

И в машине стало так тихо, что мне удалось восстановить в памяти до мельчайших подробностей разговор, в котором ты с пылом убеждала не садиться сегодня за руль. Непогода, парковка, невозможность расслабиться — вот несколько из десятка приведенных аргументов... По-видимому атмосфера, в которой ты пребывала, настраивала на мирный лад и остановила занесенную над ступенькой ногу в ботинке, вернув тебя в рамки приличия, обязывающие в таком достойном месте реагировать величественно и верхнеступенчато.

— В таком случае, я поднимаюсь и буду терпеливо ждать тебя, — попытожила ты, вложив в свой голос всю вежливость, на которую была способна.

У меня отлегло от сердца. Картина разъяренной от ожидания женщины, нацеливающейся острым предметом на мое не-

организованное существо, уступило место той, которая в отблесках свечей грациозно сидела в кресле эпохи ампир и листала меню. Когда, опоздав на минут двадцать, я вошла, вернее, вбежала в нарядный, праздничный зал, я увидела тебя именно такой. Внизу швейцар отнял у меня ещё несколько минут, пытаюсь выяснить, понимаю ли я, что нахожусь в кулинарной Мекке Парижа, в заведении, открытом ещё в шестнадцатом веке? Он подчеркнуто торжественно принял мои вещи и предложил подождать прибытия лифта в кресле, рассчитанном на долготерпение. С какого этажа или света возвращался этот лифт, я могла только вообразить, но, по-видимому, он проделал немалый путь, прежде чем с готовностью открыл свои двери. Внутри ждал лифтовой — думаю, это правильное название для человека, который проводит часть своей жизни в лифте, а наверху, куда мы прибыли, ещё один фрачный, доставивший меня, наконец, к тебе. Я подсчитала, что за десять минут пребывания в этом изысканном пространстве, меня сопровождали четыре раза. И каждый раз сопровождающий менял своё лицо. Четвертым был тот, кто провел меня в туалет. Открывая двери, я озабоченно посмотрела по сторонам, ожидая пятого: того, кто подаст мне туалетную бумагу и проведит к унитазу. Но здесь, похоже, мне предоставили полную самостоятельность. Почувствовав свободу, я тут же поддалась плебейской привычке дешевого туриста: стала фотографировать туалетную комнату. Картины на стенах, кресло, которое ждало посетителей в преддверии, как бы предлагая: отдохните в моих объятиях, перед тем как проделать нелегкий путь до окончательного освобождения, а также позолоченные краны с птичьими головами, омывающими руки струями из своих клювов...

Ты всё это время читала карту вин. Даже для такой осведомленной особы, она содержала излишнее количество информации о дорогих бутылках, столетиями хранящихся в подвале этого старинного заведения. Застыв на энной странице крупного фолианта, издали напоминающего Библию, на которой в старых фильмах клялись в вечной верности, ты растерянно посмотрела в мою сторону:

— Красное или белое?

— Мясо или рыба?

— Значит, белое... Вот неплохое восемьдесят пятого года. А вот менее насыщенное, Шассань-Монтрашэ, девяносто третьего.

— Давай менее опасное.

— Значит, восемьдесят третий.

— Не согласна: тридцать пять лет выдержки — звучит многовато. — Давай то, что двадцать семь.

— Почему?

— Ну, может оно не такое крепкое, — мне не хотелось поднимать вопрос о том, что самое древнее вино, которое я пила, было двадцатилетней давности и что я не готова в одно мгновение преодолеть такой длинный временной промежуток.

Ты на всякий случай проконсультировалась у безупречного официанта с белой бабочкой, стоявшего неподалеку и следившего за каждым нашим движением. Бабочка покинула его смокинг и замахала крылышками:

— Вы предпочитаете кисловатый вкус или кремовый?

— Может, возьмем пока по бокалу? — осторожно спросила ты.

— Конечно, — согласилась я послушно, — только тебе этого не хватит. Я тебя знаю, — уверенно добавила я, тут же забыв о желании довольствоваться малым.

Ты приготовилась возмутиться, но перспектива снова погрузиться в изучение тяжелого фолианта вин, занимающего четверть стола, тебя смутила больше, чем цена.

— Хорошо, берем бутылку, — ты выбрала Пюлини-Монтрашэ девяносто третьего, облегченно вздохнула и вдруг стала похожа на беспечный полевой цветок — светлые волосы с завитушками, солнечная улыбка... Я любовалась, не желая нарушать паузу. Удивительно, как гармонично ты на меня действовала. Уже войдя в ресторан и увидев родное лицо, с которым меня разделяло восемь месяцев невстреч, я забыла о своем внутреннем ворчливом старичке. Оглядевшись, я заметила, что кроме нас, в зале прямо за моей спиной сидела пара русских. А что, если это потомки российской императорской семьи, некогда облюбовавшей это известное заведение? — мелькнуло в голове. Я посмотрела на тебя, всегда одетую на грани элегантности и бесстыдства: обнаженные участки тела под прозрачной сдержанно черной тканью. Перехватив мой взгляд, ты пожалала плечами:

— Я пришла в том, в чём хожу на работу.

Я представила студентов, которые смотрят на твою грудь, занавешенную тонким тюлем, и смущенно-извиняющимся голосом пролепетала:

— А я так замерзла сегодня, что надела самое теплое платье, а под него ещё и свитер...

— Ты же знаешь, мне совершенно не важна внешняя сторона, — перебила ты.

Мне стало даже обидно: в отличие от тебя я пользовалась макияжем с целью нравиться внешне так же, как и внутренне, и если ты не заметила моих усилий...

— Ты прекрасно выглядишь, но для меня важно не то, что снаружи, а то, что за оболочкой, а у тебя там такое...

Я тут же повеселела: в скудности внутреннего мира меня действительно тяжело упрекнуть. Нам принесли меню. Мне — зачем-то на английском. Каждый раз, когда в этой стране со мной заговаривали по-английски, я злилась на саму себя: за двенадцать лет пребывания во Франции пора бы уже научиться говорить так, чтобы тебя не принимали за иностранку.

— Неужели я так плохо говорю? — поинтересовалась я, на этот раз смеясь.

— Ну что вы, — возразил официант с таким акцентом, что я тут же успокоилась: он ориентировался на себя. В отличие от неподъемного тома карты вин меню выглядело вызывающе скромно: разделенный на три части картонный лист, в котором было не более трёх рыбных блюд. Выбор занял пару минут. Ты заказала рыбу, а я — любимые коки Сан-Жак, политые таким соусом, в который хотелось до бесконечности макать хлеб, запивая крошки маленькими глотками. Несмотря на то, что мы не взяли закуски, нам принесли их дважды: амюз-буш — забавы для рта, если переводить дословно, — а потом ещё полоску баклажана, одиноко свернувшегося маленьким калачиком на огромной тарелке и одобренного таким описанием многословного официанта, что я пожалела об отсутствии диктофона.

Мне оставалось только наслаждаться. Вино, которое мы пили, казалось амброзией, официанты — Ганимедами, а ресторан, с видом на Нотр-Дам — Олимпом, где восседали боги за вечерней трапезой. Вечер пролетел так быстро, что когда ты начала смущенно зевать, я поняла, что время перевалило за полночь.

— Тебе понравилось?

— Очень! Всё время кажется, что обернусь — и увижу Наполеона Третьего и Оноре де Бальзака, любивших посещать этот ресторан. Я в таких заведениях никогда не бывала! Когда подумаю, что здесь любили бывать Генрих III и Генрих IV, который ввел моду на вилки! — Вот видишь, а ещё сомневалась!

— Да мне просто неудобно было... Могла бы меня пригласить в место попроще...

— Попроще — это уже без меня.

— Да я без тебя вообще никуда не выбираюсь! А тем более, на день Валентина. Не ожидала, что именно в этот день...

— Пора начинать, — оборвала ты резко. — А то ведь меня скоро не будет.

— Как это? — В груди зашевелилось что-то скользкое, и я ощутила себя почти библейским персонажем, в райскую беззаботность которого неожиданно вторгается змеиная реальность.

— Я попрощаться с тобой сегодня хотела... Купила квартиру в другой стране и переезжаю.

Кажется, ты говорила ещё о женщине, которую полюбила настолько, что готова была отказаться от себя... Твои слова отлетали наподобие теннисного мячика, бьющегося о стены моей оболочки эхом размеренных ударов. Я сидела за стеклянным окном и равнодушно смотрела на ночной Париж, бывший для меня некогда одним из самых желанных городов на свете. Огоньки приветливо мелькали навстречу восторженным туристам, продолжая манить тех, кто готов попасться на удочку сложившихся годами клише и литературных ассоциаций.

А когда ты медленно поднялась и лениво зашагала к выходу, та, что сидела в стенах моего тела, последовала за тобой до такси, простившись так быстро, как будто мы встретились несколько минут назад на перекрестке, перекинулись парой дружеских слов и разошлись. Она, то есть, я села в машину и поехала так далеко от этого вечера, что вскоре он показался одной из недочитанных страниц моей жизни, где попытка отдать должное важным деталям, показавшимся недостаточно универсальными для посторонних глаз, с нетерпением завершается на общих фразах. Я сидела за рулем, косо поглядывая на купленную бутылку с тем же судьбоносным именем, поставившем точку на этом вечере и занявшую соседнее место в моей машине так же непринужденно, как та, что заняла место в твоей жизни.

— До тебя я знал только одного человека, посетившего Tour d'Argent, — признается муж на следующий день. — Это был владелец авиационной компании Dassault Aviation.

Что ж, подумается мне тогда, наверное, значимые события, которые остаются в нашей памяти, как и всё остальное, тоже имеют свойство поворачиваться другими гранями.

МАРИ

Она говорила не умолкая. Стоило ей задать вопрос, и ответ обрушивался, как шампанское из неосторожно раскупоренной бутылки. Пробка летела в сторону — и шипящий поток заливал пальцы и кисти рук, отвлекая от речи, которая продолжала литься, несмотря на замешательство вопрошающего, уже потерявшего интерес к вопросу и думающего только о том, чем бы вытереться. Помню, как спешила забрать ребенка из садика, а она зацепила меня на пороге словесным лассо, накинутым на довольно приличном расстоянии. Я ещё подивилась её меткости: это же надо так подгадать с сюжетом, остановив меня буквально на лету и успев пролистать несколько страниц своей жизни с такой скоростью, что мне тут же захотелось записаться на курсы скорочтения. Но с меня было достаточно и того, что есть: курсов грамматики и информатики, проходивших в ассоциации, которую она представляла, совсем не по-директорски восседая в крохотном проходном кабинете.

История, которой она поделилась в тот раз, был проста и трогательна: когда с ней случился инсульт, и отнялась правая половина лица, она попала в больницу. Там одна женщина, страдавшая той же болезнью, но не утратившая способности пользоваться своей мимикой, посоветовала ей запечатлеть на бумаге искусство смеяться в лицо брэнностям неподвижного существования, которым Мари отличалась всю свою подвижную и подвижническую жизнь, но в данный момент не могла воспользоваться. И Мари начала диктовать свои мысли соседке в палате, давшей ей спасительный совет, а после, вернувшись домой — близкой подруге. Я не осмелилась спросить, есть ли у неё дети, которые помогали в тяжелые моменты испытания. Через пару лет дело стало идти на поправку, и к ней вернулась её прежняя подвижность, прекрасно дополненная вкусом к изящной словесности, в которой она упражнялась чуть ли не ежедневно. Огромный роман, который так и не был опубликован, был отложен в сторону, но не забыт. Она периодически вносила корректуры в некото-

рые места текста и даже со мной, имевшей неосторожность признаться в том, что я когда-то пополнила доблестные ряды украинских писателей, буквально за несколько минут разговора, умудрилась поменять название романа. Судьбоносное решение пришло в тот момент, когда я уже потеряла надежду уйти и села в кресло напротив, чтобы терпеливо, но не без некоторого интереса дослушать окончание истории. А оно всё не наступало — и тогда мне пришлось пожертвовать адресом моей электронной почты и пообещать, что я прочту роман и честно скажу, что я о нем думаю.

Я покидала ассоциацию Реле де Сара, как пуля, долго ожидавшая своего часа и готовая выстрелить в любом направлении. К счастью, направление осталось прежним. Я успевала, хотя и с большим опозданием, забрать свою дочь с продленки. Чувствовала я себя не то чтобы не в своей тарелке, но скорее блюдом, приготовленным за время разговора, которое успело остыть и даже превратиться в однородную массу, отдаленно напоминающую компот (*en compote* на обиходном французском означает «разбитый, расквашенный»). Наверное, последняя ассоциация окончательно внедрилась в мое сознание вместе с морсящим дождем, пропитавшим одежду и слегка размывшим очертания окружающего, чему способствовали отсутствие очков и потеря энергии после восьмичасового рабочего дня. «Рабочего» естественно я мыслила в кавычках, ибо со времен, когда моя нога ступила на французскую землю, о постоянной работе приходилось только мечтать. Поэтому работой скорее называлось изучение французского и работа над собственными сочинениями, то есть то, что нормальные люди называют досугом. «Нормальных» я естественно тоже мыслила в кавычках, потому что к середине жизни окончательно запуталась, что можно назвать нормальным, а что — аномальным. Вот, например, Мари, возглавлявшая Реле де Сара. С одной стороны, она чуть ли не единственная, получающая зарплату — все остальные «преподаватели» были добровольцами... Стало быть — она «нормальная»?

Меня уже начинали раздражать кавычки, переполнившие последний абзац, но я не собиралась посвящать время психоанализу и делать пусть и небольшое, но отступление от портрета Мари, который собственно и портретом не назовешь. В противном случае, мне стоило упомянуть хотя бы о внешности этой немолодой женщины, относящейся к категории *les*

personnes âgées. После нескольких лет жизни во Франции я наконец привыкла к эвфемизмам, которые так почитает французская словесность. Как приятно, например, услышать *ma belle fille* вместо невестки и *ma belle mère*, обращенное к свекрови. Так же и со старостью. Во Франции, даже в столетнем возрасте вас будут продолжать причислять к категории пожилых людей. А если вам ещё нет шестидесяти, могут, не моргнув глазом, назвать молодой женщиной. Мне показалось, что Мари перевалило за шестьдесят. И если разгадать возраст женщины, тем более — французской, почти невозможно, Мари не принадлежала к той категории француженок, которые во что бы то ни стало пытаются сохранить молодость и в преклонном возрасте носят короткие юбки и статные прически. Её выцветшие с сединой волосы были обезображены прямолинейным каре, слегка припухшее непропорциональное лицо, не вызвало желания расшифровывать прошлое, скрытое в морщинах, а тучная фигура, казалось, навсегда приговорена к креслу, где она проводила большую часть своей жизни.

И всё же, в ней было нечто, что делало её привлекательной не только для писателя-портретиста. За короткое время, прошедшее со времени нашего знакомства, передо мной пронеслось столько жизней, пропущенных через её собственную, что возникало ощущение полноты проживания моей собственной, зачастую казавшейся на чужой земле недостаточно яркой. Самое интересное, что когда она говорила о себе или о других, глаза её загорались восторгом, делая её в такие моменты почти привлекательной. Вот почему вместо того, чтобы выходить из комнаты, где занималась французским группа так называемых продвинутых, непосредственно на улицу, многие из нас выбирали маршрут, проходящий мимо её кабинета, с тем, чтобы заглянуть и перекинуться с ней пусть и нечетко произносимым, но французским словечком. Рядом с ней акцент казался чем-то несущественным, и любая неловкость, естественная для иностранца, чувствующего себя не вполне полноценным собеседником, исчезала. Она тут же отбивала теннисный шарик разговора, который почему-то больше не возвращался к вам, а продолжал биться на её половине поля, и забрасывала стоящего напротив сложносочиненными и подчиненными предложениями, которые казались бесконечными, как фразы Пруста, претендовавшие на целые страницы.

Наверное, мне уже пора решиться на страницу, ради которой писались предыдущие, и завершить портретный набросок Мари. В тот день я намеревалась остаться только на первую половину занятий, поскольку меня ждал насыщенный график, писать о котором в данном контексте — злоупотреблять вниманием читающего. Перерыв, который обычно затягивался на полчаса, а то и сорок минут, казался мне непростительной тратой времени. По понедельникам Мари преподавала сама. Справедливости ради следует отметить, что она не изображала из себя преподавателя и на первом же занятии честно призналась нам, что она не филолог. Поэтому когда мы задавали вопросы, касающиеся грамматики, она только краснела в ответ и спешила заглянуть в интернет, чтобы найти нужную справку и распечатать для нас неизвестную ей информацию. Зато когда ей задавали вопрос о смысле незнакомого слова, она взрывалась фейерверком метафор и погружалась в пространные объяснения, кишащие аналогиями всех сортов и требующие вмешательства всех органов чувств.

В этот день меня почему-то особенно раздражал словесный поток, которым она не преминула заполнить эфир, как только раздался один из таких вопросов. Объяснения так и посыпались из неё. Здесь бы пригодилось сравнение с семенами в их извечном смысле сеяния разумного, доброго и вечного, но почва оказалась неблагодарной, во всяком случае, в моем лице. Я демонстрировала своё полное безразличие, тщательно отвечая на имейлы и эсемески и втайне надеясь, что другие тоже потеряют интерес к такому непродуктивному использованию времени. Мне даже стало казаться, что женщина, задавшая вопрос, уже сожалеет о нем. Когда объяснение одного слова, длившееся несколько минут, заканчивалось, и мы переходили к следующей фразе, я облегченно и громко вздыхала. За полтора часа мы успели прочесть только одну страницу текста. Я была в бешенстве, и никакие убеждения внутреннего голоса, не перестававшего мне твердить, что дареному коню к зубы не смотрят (годовые курсы мне обошлись всего тридцать пять евро), не убеждали.

И всё же, перед тем, как уйти во время паузы, я сделала попытку вежливо проститься:

— Вы не могли бы дать мне страницы, над которыми будете работать после перерыва? — я знала, чем рискую, но, всё же, предпочла потерять несколько минут времени ради слабой надежды на новые, пусть и не гарантированные знания.

Мария засуетилась и вынула из папки две страницы, на которых был напечатан довольно крупным шрифтом текст, показавшийся мне на первый взгляд далеким от учебного пособия.

— Это я написала, — добавила она с некоторым смущением. — Дело в том, что... у меня сегодня особенный день... —

Она увидела, как моя рука схватилась за дверную ручку, приготовившись к срочному броску на улицу, и поспешила добавив:

— ...и я пытаюсь заполнить его ...

Я уже приоткрывала дверь...

— У меня сегодня годовщина смерти ребенка, — выдохнула она так быстро, что мне показалось, будто это она отдернула мою руку от двери и навсегда приклеила к телу.

— ... и я стараюсь писать... много писать... и... говорить... много, то есть преподавать, — поправила она, — чтобы забыть этот день... прошло так много времени, а я до сих пор помню...

До меня долетали лишь некоторые фразы, тогда как другие бились... как об стенку головой, — почему-то вспомнилось освоенная в детстве и повторяемая так часто мамой фраза.

— Он только родился, мне даже не дали на него посмотреть, в те времена считалось, что это травмирует женщину — смотреть на мертвого новорожденного — и муж замотал его... У нас даже не было гробика, и мы так его и везли, в маленьком одеяле... Мы везли его, чтобы похоронить на родине, в Бретани, в фамильном склепе... а священник, такой гадкий попался, он нас отчитал... как мы могли столько дней возиться с трупом, нужно было его давно похоронить... Поэтому я сторожила его... но я так и не увидела лица моего ребенка... Тогда это считалось правильным... Это сейчас психологи говорят, что нужно дать возможность проститься, что так гораздо легче, а иначе, ты не расстанешься со своим трауром всю жизнь...

Она вдруг оборвала словесный поток и замолчала.

— Я тоже не попрощалась с мамой, её сразу увезли из больницы в морг, — только и нашла я, что сказать. Я понимала, что подобная фраза вряд ли её утешит, но должна же я была что-то произнести в ответ. И, к тому же, мне вдруг стало непривычно неловко в образовавшейся пустоте. Как будто это я была виновата в несвойственной ей паузе.

Она посмотрела сквозь меня. И в этот момент предательская мысль о том, что мне пора, снова двинула моей рукой.

— Поэтому я работаю в этот день очень много, — завершила она и, заметив мой жест, добавила тоном, каким обычно прощаются:

— Если тебе... если вам... что-либо будет непонятно в тексте, я объясню всё после каникул... Это о времени. О времени, которое проходит и о времени, которое стоит на дворе. Я нашла это забавным, не правда ли? Хорошего вам дня.

Я прикрыла за собой дверь и автоматически поднесла руку с часами к глазам: разговор длился пять минут.

КАРАНТИН, ИЛИ ПЕРЕЗАГРУЗКА

— Ты только посмотри на небо! — муж подталкивал дочку к окну.

— Не прикасайся к ней! Ты можешь её заразить, — зашипела я. Он послушно отдернул руку, вспомнив о своей температуре:

— Посмотрите, какое чистое сегодня небо. Ни одного самолета!

От человека, проработавшего всю жизнь в авиационной компании, слышать такие слова было необычно.

— Кушать будешь?

— Не-а, — беспечно ответил тот, кто раньше не мог продержаться без еды и суток.

Небо было голубым и ничто не омрачало его незамутненного настроения. Я открыла окно. Весна звала и пленила. Хотелось выбежать на улицу, вдохнуть аромат апреля. Хотелось пойти в любимый парк Багатель — валяться на траве, собирать цветы, перекрикиваться с павлинами. Ничего, — сказала я себе, — поиграем в сознательность, отсидимся дома, не впервой. Те, кто пережили Чернобыль, когда даже сама мысль о воздухе казалась смертельной, навсегда приобрели прочный иммунитет к панике, больше не вырабатывая гормонов, отвечающих за страх, и просто не понимали, почему здоровые, ещё не зараженные люди боятся. Наверное, им не хватает адреналина, и они пугают себя страшилками новостей, — сделала я поспешный вывод.

Выходить, честно говоря, совсем не хотелось. Штраф сто тридцать пять евро для той, кто только что лишился одновременно четырех выступлений, обещающих неплохие, хотя и карманные деньги, был ощутимой суммой. Удручающая картина накануне — очередь на улице в продуктовый магазин — не внушала желания вливаться в молчаливые ряды угрюмых искателей хлеба насущного. Полное отсутствие в аптеках масок и нехватка последних даже для тех, кто работает с боль-

ными и ежедневно рискует своей жизнью, вызывали смешанное чувство возмущения и отчаяния. Затоварившись в маленьком магазинчике напротив, где на полупустых полках всё же оставалось достаточное количество продуктов, особенно для тех, кто жил в советскую эпоху и ещё помнил слово *дефицит*, мы с дочерью вернулись домой, твердо решив в ближайшее время не высовываться из дома. Шел первый день официального карантина. Свежий хлеб вреден, — повторяла я себе, — мясо и рыба необязательны во время поста. Заполнять каждый день аттестацию и писать о том, что ты идешь за покупками, а не развлекаться, не хотелось.

В остальном, моя жизнь пока не изменилась. Честно говоря, поначалу я даже обрадовалась объявленному карантину. Ура, теперь я смогу закончить всё: книги, песни, рассказы! — я почти ликовала. Я никогда не относилась к особо активным согражданам общества, выбиралась из дома с неохотой, считая это тратой времени и предпочитая работать дома, а к уединению стремилась в течение всей своей жизни и даже боролась за него. В детстве, каждую госпитализацию я воспринимала как праздник, любой ценой пытаюсь покинуть квартиру, наполненную ссорами. Изоляция от семьи превращалась в радость общения с детьми и подростками в палате, в проказы, которых я была лишена всё детство, вырастая рядом со взрослыми и едва успевая посещать школу между болезнями. Когда мне исполнилось двадцать шесть, и мама умерла, я на некоторое время перестала попадать в больницы, и в доме стало тихо и темно.

В месяцы, предшествующие карантину, меня не покидало нарастающее раздражение. Покоя! — просило оно тех, кто пытался вытащить меня из ракушки внутреннего заточения. Я всё больше впадала в состояние оцепенения, пустоты, которую хотелось заполнить когда-нибудь потом, не сейчас, в состоянии нуля, от которого начнется отсчет настоящей жизни. *Перезагрузка планеты*, — придет ко мне ответ уже к концу весны.

Я объясняла моё нежелание выбираться из дома тем, что мне нужно было подготовиться к выступлению — моему первому официальному выступлению на французском языке в медиатеке нашего городка. Я переживала, что окажусь не на высоте, что меня подведет бедный словарный запас, что от волнения я не смогу сконцентрироваться и допущу множество

ошибок. Я перечитывала вопросы, тонула в многословных ответах, которые мне предстояло запомнить, и воспринимала каждое предложение встретиться как угрозу моим планам. Услышав о предстоящем карантине, я перестала паниковать: не нужно торопиться, доказывать свою состоятельность, заниматься одновременно всеми делами сразу — второй год болтающимися в префектуре документами, папиными больными ногами, многочисленными кружками дочери, не отредактированной книгой и предстоящим выступлением на публике. Не нужно оправдываться перед знакомыми, приглашавшими меня на встречи, в гости, ждавшими от меня общения и обмена, которые я любила в иные моменты своей жизни и с такой настороженностью воспринимала сейчас. Не нужно стыдиться показаться белой вороной тем, кто умеет зарабатывать и тратить, развлекаться и путешествовать.

И я впервые ощутила то, что можно назвать общностью с окружающей действительностью. Только теперь не я пыталась попасть в ритм внешнего мира, который в моменты своей активности вызывал во мне столько комплексов, а он попал в ритм жизни моей, превратившись в большую больницу, где я, как и другие, пребывая в своей палате, с напряжением вслушивалась в sireны скорой помощи, на этот раз приезжающие не за мной.

За несколько дней до этого мне снился жуткий сон: я убиваю человека, который докучает мне своим присутствием. Я хватаю его за ноги и кручу, он оказывается маленьким и легким, от его тела отпадает голова и тогда, продолжая его раскручивать, я ударяю его тряпичное тело о твёрдые поверхности, так что в конце от него остаются только ноги. Я делаю это со знанием дела, спокойно и даже с некоторым наслаждением.

— Я впервые убила человека. Во сне, — поспешно добавляю я.

— В вас очень много негатива накопилось. — Психотерапевт, которого я не навещала больше полугода, как всегда, прекрасно выполняет свою работу, но напоминает сегодня собеседника:

— Я пришла к врачу, говорю: проверьте меня, я кашляю... Не знаю, удастся ли вернуться на родину, — голос у неё неуверенный, взволнованный.

Ну вот, и она в тревоге. Весь мир в тревоге. Первые сигналы уже поступили. Во Франции ещё небольшая смертность, но это только начало...

На следующий день, вернувшись домой раньше обычного, муж объявил о том, что он болен. Он всегда заболел в первый день каникул, организм расслаблялся, отпускал бразды ответственности и говорил: *баста*. Но в этот раз ему предстояло работать дистанционно, а с температурой 39 это было явно нелегко. Он попытался вызвать скорую, но врачи были переполнены работой, тесты делали только тяжелым больным, забирали только умирающих. К марту двадцатого года Франция ещё не была готова к эпидемии и не ожидала такого наплыва больных. Врачам не хватало не только лекарств, но и масок, госпитали были переполнены и не вмещали вновь зараженных. Сначала единицами, затем десятками, потом умерших стали считать сотнями, а через пару недель с начала официально объявленной пандемии коронавируса — тысячами. Картинки, приходящие по интернету, делились на три категории: те, что подбадривали и давали надежду, те, что пророчили апокалипсис тоталитарного режима и те, что давали практические советы, типа: у вас есть четыре дня, чтобы спасти жизнь! И далее — бабушкины рецепты: ингаляции, полоскания, горячие напитки...

— Голод и питье, — посоветовала я хмуро — и муж неожиданно послушался.

— Сажусь на голод, — твердо сказал он. — И лег.

На энный день голода температура начала спадать, насморк прошел, я кашляла сильнее, чем он, сваливая всё это на мою мощь средства и психосоматику, а десятилетняя дочь носилась между нами и престарелым отцом, приехавшим на свою беду к нам в гости, и пыталась расцеловать всех. Страх за него превращал меня в фурию, орущую на всю семью, в то время, как она, радуя, развлекая и раздражая всех, умудрялась использовать сто процентов моего времени. Надежда на возможность сделать что-либо для вечности таяла с каждым днем. Жизнь особенно омрачала необходимость делать с ней французские уроки, чем всегда занимался изможденный работой, а теперь — голодом и температурой, муж. Оказалось, что она обладает удивительной способностью каждое десятиминутное упражнение превращать в пытку, затягивая его на часы.

Через несколько дней пребывания в закрытом пространстве с тремя взрослыми детьми — семидесятивосьмилетним папой, десятилетней дочкой и заболевшим мужем — я поняла, что моя радость на уединение была преждевременной: на себя оставалась только ночь. Я ложилась сначала в два, потом в три, потом в четыре... Я начала вставать в одиннадцать, двенадцать... Утро было потеряно. Уроки у нас начинались после обеда, когда все дети завершали домашнее задание. Днем я фланировала между школьной программой Аси, выполняя одновременно роль Цербера, бдящего над нерадивым учеником, и санитарки, следящей за ежечасным мытьем рук всего семейства, изоляцией каждого, приготовлением горячего питья для мужа и короткими видео, присылаемыми со всех концов мира с целью предупредить и поддержать.

Одна из сцен, произошедших в первую неделю, заставила меня всерьез задуматься над тем, какие уроки придется пройти лично мне за это время. Я собралась в магазин и попросила дочь помочь нести сумки.

— Не пойду, — неожиданно заявила она.

— Почему? — не поверила я своим ушам.

— Не хочу.

— Но мы же с тобой договорились! Папа болен...

— А теперь не хочу. Возьми дедушку.

— Но дедушка старый и немощный, и ему опасно без маски...

Не помню, сколько мне ещё понадобилось вопросительных, просительных и восклицательных слов, прежде чем я убедилась, что дочь не намерена выходить. И вдруг, внезапный порыв гнева, как мистраль, обрушился на меня. Холодное бешенство, вылетевшее из самых отдаленных, полярных уголков души, куда редко проникает солнце любви, накрыло меня с головой и бросило на ребенка. Если можно сравнить тело одного человека с волной, то я накрыла её, как всё разрушающее на своем пути цунами и, схватив за горло, стала трясти. К счастью, муж, который на несколько минут вылез из постели, услышал её крик.

— Перестань, — вмешался он, поспешно входя в комнату, — и я тут же разжала руки, ещё не понимая, что со мной произошло.

Я готова была провалиться сквозь землю от стыда и страха, представляя, что могло бы произойти, если бы он не пришел вовремя.

— Всё, теперь точно заболею, — повторяла я, уверенная в том, что низкие вибрации притягивают болезнь, — спасибо тебе, Ася!

Перепуганная дочь выбежала в переднюю. Так быстро она никогда не одевалась. За минуту она была готова к походу в магазин. Я бессильно опустила в кресло, ругая себя последними словами и выливая свой гнев на окружение:

— Никуда не пойду. Поздно. Мне больше не нужна твоя помощь. У меня больше нет дочери! — внезапно заорала я. — Ты губишь мою душу, превращая меня в монстра — и мне наплевать теперь на тела! Хоть помрите с голода все! У меня вообще сегодня разгрузочный день. Хотела вас накормить, но теперь не хочу! — Я погружалась всё глубже в темноту и уже наверняка знала, что стану её жертвой.

— А я продержался четыре дня без еды и ещё могу, — примирительно произнес муж.

Теплая волна благодарности нахлынула на меня. Какой молодец он всё-таки: болел, работал, не ныл. Я вдруг подумала, что уже неделю не упрекала его за то, что мы не путешествуем. Двенадцать лет совместной жизни я называла тюрьмой только потому, что мы могли себе позволить выехать на каникулы только раз в году: летом. Я с завистью смотрела на своих подруг, проводящих жизнь в бесконечных путешествиях.

— Семь лет у меня ушло, чтобы уговорить его поехать в Италию! — рассказывала я, кипя от возмущения и считая себя самой несчастной женщиной в мире. — Он даже в соседний город не хочет заехать, сменить картинку. Шестнадцать дней на зимних каникулах просидеть дома! А я за-ды-ха-юсь дома!!!.

Если бы я знала, что весь мир вокруг вскоре превратится в тюрьму с индивидуальными камерами заключения и начнет действительно задыхаться.

Ошарашенная дочь по-прежнему стояла возле входной двери, не зная, что теперь делать. А отец расстроился. Он был худым и часто напоминал мне о том, что в детском доме, куда он попал в семь лет после смерти мамы, он плохо кушал и много болел. А потом ему вырезали две трети желудка из-за язвы, и ему нужно было всю жизнь следить за правильным питани-

ем. С тех пор, как он гостил у нас, меня не покидало чувство стыда. Дочерняя забота была не самой сильной стороной моей натуры, и в первые дни эпидемии я поняла это как никогда. Именно заточение в одном пространстве со своими близкими стало для меня окончательной проверкой. Я пыталась развлечься цитатами, наподобие: *Если вы думаете, что достигли просветления, попробуйте провести неделю со своей семьей* или *Соседка кричала на ребенка так громко, что я тоже решила убрать свою комнату*, но это не оправдывало меня в собственных глазах. По опыту я знала, что когда начинала себя упрекать и недолгобловать, это всегда отражалось на теле. Но болеть я не имела права — в эти дни на мне держался весь дом. И я твердо пообещала себе больше не реагировать на непослушание дочери.

Ты ответственна только за свою душу, — написала мне подруга короткое СМС — и неожиданно успокоила. Но ненадолго. Через несколько дней я снова сорвалась. Я находилась на кухне, когда из комнаты раздался хохот и крик. Ася намотала на дедушку его постель и с радостными воплями: — Мама, мама, посмотри, хот-дог! — водила его по квартире как доброго медведя, которого в средние века волокли на цепи на потеху народу. Они подошли к запертой комнате мужа.

— Жан-Мишель, Жан-Мишель! — заорал мой отец. — Посмотри!

Меня всегда забавляло, как мой отец общается с мужем. Обращаясь к нему, он говорил так, как если бы тот понимал русский, а если он, наконец, замечал, что тот ничего не понимает, он немного повышал голос, как будто громкость делала более понятными его слова. Муж со временем перестал возмущаться и стал, как будто, подражать ему.

— Я не понимаю, Владимир, — отвечал он ему по-французски в начале этого диалога глухих и продолжал разговаривать с ним, всё сильнее повышая голос, как и мой отец. Так могло продолжаться несколько минут. Иногда я заставала их, обменивающихся друг с другом репликами на разных языках, которые не имели никакого отношения друг к другу.

На этот раз диалог был чреват последствиями:

— Папа, ты что, не понимаешь, что он болен и вам нельзя общаться? У него, скорее всего, коронавирус, ты можешь заразиться и умереть! — я кипела от возмущения.

— Ну, значит, умру, — спокойно ответил отец.

— Тогда я больше не буду тебя беречь! Это твой выбор, — гнев снова переполнил мое сердце, вытесняя из него последние капли любви.

Мне показалось, он лезет на рожон и делает всё, чтобы не возвращаться в Киев здоровым. Поразмыслив, я поняла, что это действительно так: он не хотел возвращаться. Я с ужасом подумала, что эпидемия там только начинается, и некому будет сходить для него даже в магазин и аптеку. Билет на самолет датировался двенадцатым апреля. Через две недели, нужно будет что-то решать. Если только откроют границы, — успокаивала я себя. Пока было ясно только то, что отправить моего отца на верную смерть я не смогу. Я вспомнила, как беззащитно он смотрел на меня последние годы, как обреченно любил, как терпеливо прощал.

— На женщин не обижаются, — ответил он однажды после моей очередной вспышки. — А ты ещё и поэтесса...

Я улыбнулась. У него были свои критерии. Смиренного и великодушного человека, который тихо любил, тихо жил, не кричал о своей боли и о своем страхе. Только изредка стонал:

— Одинокое мне одному.

— Папочка, продержись ещё немного, я что-нибудь придумаю. У меня даже постоянной работы пока нет.

— Может, жениться мне?

— Папа, тебе семьдесят восемь лет, ты еле ходишь, кто за тебя пойдет?

— Главное, чтобы готовить умела, — продолжал папа свои эротические фантазии.

— Папа, ты отдаешь соседке, которая травит тебя несвежей пищей, половину своей пенсии! Зачем тебе ещё и женщина повар?

— А может мне сойтись с соседкой?

— Папа, она тебя дурит!

Вот такие разговоры происходили на кухне день изо дня...

Мои мысли прервал вопль дочери:

— Мама, я тоже хот-дог, посмотри на меня!

И я посмотрела: дедушкино постельное белье волочилось по полу, который я не мыла больше десяти дней и мыть не собиралась. Не только из-за добросовестного следования школьной программе в русской и французской школе, занимавшей почти всё свободное от домашних дел время, не только из-за

спины, дававшей сбои без бассейна, но и из-за вещей Аси, разбросанных по всей квартире. С первых же недель карантина она стала планировать поездку на море и целеустремленно собираться в дорогу, раскладывая летнюю одежду на кровати, стульях, креслах, ковриках... По старой привычке я было начала возмущаться и кричать, но потом только подивилась: как ребенок, не знакомый с понятиями терапии, интуитивно смог обеспечить себе психологический комфорт, в то время, как многие взрослые поддались панике и погрузились в депрессию? Даже я, привыкшая к относительной изоляции, по ночам бороздила просторы интернета, изучала ползущие вверх кривые смерти, считала умерших во Франции и пыталась найти средства профилактики и скрытые механизмы случившегося. Программа сокращения численности населения казалась очевидной, но не объясняла, как себя вести, чтобы остаться в редующих рядах погруженного в страх человечества и сохранить хотя бы немного здравого смысла и свободы передвижения.

Я перестала завидовать здоровым людям. Тем, которым не нужно было всю жизнь бороться за физическое выживание. Теперь они боролись за выживание других и бремя ответственности, которое они добровольно несли, делало их очень уязвимыми. Я с ужасом читала новости о директоре итальянского госпиталя, спасавшем жизни других и скончавшемся, о французских и славянских врачах, пожертвовавших собой во время выполнения привычного долга... Каждый день по вечерам вместе с другими французами, я аплодировала у окна, открывавшегося ровно в восемь, врачам, на которых пало бремя всего человечества. А однажды во дворе у нас запели Марсельезу — и я даже пожалела, что не успела оформить документы и стать настоящей француженкой. Я слушала музыку восьмидесятишестилетнего Маню Дибанго, умершего на днях от коронавируса, и открывала для себя других музыкантов, умерших и живых, молодых и старых, мастеров своего дела.

Через пару недель карантина я перестала думать о своей несостоятельности в стране, куда я переезжала, чтобы, как я писала, «воспарить». Перед лицом болезни и смерти всё казалось необязательным: положение в обществе, гражданство, работа и налоговый номер, которых у меня не было. Через три недели карантина, я научилась не только переносить постоянное присутствие близких и мириться с тем, что день ушел не на творчество, а на рутинные занятия, но и заботиться о них,

не впадая в гнев, если приходилось повторять по несколько раз одно и то же гложущему отцу и делающей вид, что не слышит, дочери. Терпеливо и спокойно. Настойчиво и невозмутимо. Изо дня в день.

Мне ещё предстояло бороться за жизнь отца, которого заразила внучка, не заметившая, как, в свою очередь, заразилась от папы и тут же выздоровела. Мне ещё предстояло бороться за мою собственную жизнь, убеждать вселенский разум оставить меня на земле, приводить доводы о своей необходимости и давать обещания послужить на пользу окружающему. Я не хочу писать о месяце битвы с этим страшным вирусом, который оказался сильнее всех моих знаний и опыта, сильнее голодовок, ингаляций, горячих трав, парацетамола и прочих лекарств... Я хочу поскорее забыть о жаре, который не спадал, о сердце, которое не выдерживало, о докторах в обмундировании, дважды приезжающих ко мне по скорой помощи, о моем страхе не выстоять.

Я оставлю в памяти только тех, кто волновался за мою жизнь, поцелуи обнимающей, несмотря на мои запреты, дочери, продолжающей быть рядом со мной в самые тяжелые минуты. Я вспомню с благодарностью о том, что она, наконец, стала самостоятельно заниматься и ложиться спать, о том, что муж научился готовить и заботиться о других, а отец — лечиться и выздоравливать. О том, что близкие перестали обращаться ко мне по любому поводу, и у меня наконец появилось время на себя: сначала — на борьбу, лечение и восстановление, а после — на чтение, фильмы и другие необязательные, но приятные занятия.

И однажды я проснулась с огромной благодарностью в сердце. За то, что все мы выздоровели. За то, что отец был с нами. За то, что мы проживали этот уникальный период вместе, под одной крышей, и мне выпала возможность проявить свою заботу о дорогих моему сердцу людях. За то, что мне звонили и писали заботливые любящие друзья. За то, что на фэйсбуке каждый день я читала их гениальные тексты, слушала их песни, смотрела их картины, фотографии и фильмы. За то, что я ещё не разучилась писать и после полугода молчания разразилась стихами.

Наверняка, люди одинокие извлекали совершенно другие уроки из этого карантина: думали о том, как важно ценить каждый глоток общения, а возможно, даже сожалели, что не по-

святили свою жизнь другому. Я вспоминала семь лет одиночества на родине, предшествующих моему переезду, о своей тоске по близкому. Вспоминала недели болезни и безвременья, когда я подолгу не выходила из дому, но всегда находился кто-то, приносящий еду и лекарства. Я всматривалась в прошлое и вспоминала. Я вглядывалась в будущее — и надеялась. Надеюсь, что после болезни мой голос снова зазвучит — и я начну говорить, не чувствуя этих сухих волн, подкатывающих к горлу и мешающих произнести необходимое. А после — начну петь, как раньше, или — иначе. Надеюсь вместе со всем миром, который учился быть единым.

А ещё я училась пребывать в настоящем. Не медитативном *здесь и сейчас*, которое было доступно благодаря трансцендентальному опыту, а в настоящем, лишившем меня, как и многих других, посвятивших себя семьям, любимым и любимым, любимой работы, общения и возможности развиваться в социуме. Я училась принимать настоящее, жить в нём, радоваться, любоваться и благодарить за каждый новый день, прожитый не совсем так, как бы мне хотелось, но всё же...

ОБРАЩЕНИЕ

Господа и Дамы. Дамы и Дети, дивные вещи происходят на свете.

Я узнала об этом, посмотрев в глаза одному лицедею, подставившему лицо ветру перемен и обращенному в Учителя. Он говорил о том, что наша планета приобрела способность менять свои очертания, а населяющие её сущности, то есть мы — свои формы и формы своего окружения. И что для этого достаточно произнесенного и даже помысленного Слова.

Он говорил о том, что нашей любви и ненависти не хватает осторожности, чтобы сдерживать струящиеся из нас потоки, которые обрушиваются с вершин наших гордынь и сметают наши попытки дойти до неба.

Что накопленные обиды превратятся в камни, а враждующие умы — в сизифов, катящих их на недоступные вершины: камни снова и снова будут возвращать их к подножию. А те, кто всё же продолжают свой труд, состарятся раньше, чем повзрелеют.

Что любое посеянное на ветер слово на лету уплотнится и прорастет прямо в воздухе, пуская корни в сознание тех, кто оказался здесь в момент произнесения. Что воплощение будет радостным для одних, а для других — печальным, и наступит быстрее, чем люди одумаются и захотят собрать свои слова обратно, чтобы отредактировать несовершенные чувства и вернуть собеседникам красиво оформленные икебаны, а не сгоряча брошенные в лицо семена. А скорость воплощения разумного, доброго и вечного будет зависеть от концентрации наших мыслей, чувств и намерений.

Господа и Дамы, Дамы и Дети.

Я услышала всё это, посмотрев в глаза одному из своих отражений, и мне захотелось обратиться к вам, пока вы ещё

разделяете со мной одно пространство жизни, в котором зрение и слух — одни из самых доступных посредников между нашими мыслями и желаниями:

*не уходите, не обратив свои слова хотя бы в один цветок,
который вы подарите Другому.*

Не отворачивайтесь друг от друга, не увидев в визави росток, готовый прорасти всем, чем его наделите вы, обладающие божественным даром творить свое окружение. Вы, способные взлелеять росток другого в огромное дерево, подарившее вам тень, в которой можно отдохнуть, уйдя с поля боя, где мечутся сорвавшиеся смыслы.

А когда тот, кого я разглядела напротив, замолчал и закрыл глаза — он сказал всё, что хотел — я тоже закрыла глаза, чтобы лучше разглядеть то, что сокрыто у него под веками. И там я увидела себя и свои отражения — с лицами моих друзей и любимых. Даже тех, о ком я вспоминала только тогда, когда они задевали меня своими дуновениями. Они бродили в пустоте, и каждый искал свое Слово, которое нужно было произнести так, чтобы вырастить прекрасный Сад, наполненный ароматом любви — самым заветным и драгоценным даром, ради которого мы приходим сюда. Приходим и уходим, чтобы отдавать и получать, хранить и воссоединять, а также позволять уйти тому, чему суждено уйти ради новотворения первого дня, начатого с чистого листа.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---------------------------------|---|
| <i>Предисловие автора</i> | 5 |
|---------------------------------|---|

РЕПЕТИЦИЯ ЖИЗНИ

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Трещины на стекле..... | 9 |
| Двадцать пятый кадр..... | 16 |
| Монологи у гроба..... | 26 |
| Пропала собака..... | 39 |
| Крыша..... | 74 |
| Табакерка..... | 95 |
| Массаж..... | 108 |
| Одержимость..... | 114 |
| Исповедь..... | 133 |
| Через час..... | 138 |
| Здесь живет волшебница Елена? | 145 |

ОТРАЖЕНИ-Я

| | |
|------------------------|-----|
| Автопортрет..... | 163 |
| Река..... | 166 |
| На следующий день..... | 170 |
| Лужа | 175 |
| Её собака | 180 |
| Зеркало | 188 |
| Отрывок | 189 |
| Одиночество | 190 |

ДИАЛОГИ-Я

| | |
|---------------------------|-----|
| Слова и смыслы | 193 |
| Шаги на минном поле | 199 |

| | |
|----------------------|-----|
| Форточка | 204 |
| Домашний очаг | 207 |
| Перспектива | 209 |
| Двери и дерево | 213 |
| Танцоры | 217 |
| Мусор | 220 |

ПРИТЧИ

| | |
|---------------------------|-----|
| О вертикали | 229 |
| Об артистах | 230 |
| О красоте | 232 |
| О мальчике и печали | 234 |
| О любви | 236 |
| О спасении | 238 |
| О кресте | 243 |
| О восхождении | 247 |
| Семь | 251 |

ИНЫЕ БЕРЕГА

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Прогулки со словарем | 255 |
| Актер | 264 |
| Терапия | 268 |
| Боль | 276 |
| Калимба для Ники | 322 |
| Экология от графомана Антипки | 341 |
| О вреде выглаженных рубашек | 352 |
| Подарок на Рождество | 359 |

УКОРЕНЕНИЕ

| | |
|---------------------|-----|
| Лисенок | 369 |
| Духи деревьев | 375 |
| В кадре | 388 |
| Ее дерево | 397 |

ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ..... 403

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Рождение жанра 413

Тибетское путешествие на соседнюю улицу 417

Тур д'Аржан, или Вечер Валентина 423

Мари 430

Карантин, или Перезагрузка 436

Обращение 447

Л. Тышковская

ДИАЛОГ и Я

Художник
С. Пионтковский

Оригинал-макет
Б. Марковский

Фотографии к разделам:
Репетиция жизни — *Алексей Леус*
От первого лица — *Owen Franken*
Фотографии к остальным разделам — авторские

Фотография
Л. Тышковской на обложке
Hervé Hughes

Формат 66x88 ^{1/16}
Усл. печ. л. 28,5
Подписано в печать 21.04.2022
Печать офсетная